

Рисунки Марины Медведевой

Располагая книжно-киношным воображением, я уверенно полагал, что аукционы проводятся в соответствующих залах — старинных, с лепниной и резной мебелью. И — мужик с колотушкой: продано!

Зал же, в который привел меня Сергей, был просторным, светлым и современным. Более того, стены его украшали старинное оружие, рыцарские доспехи, даже стояли цельнособранные «рыцари», как стражи.

— Я здесь обычно оружие покупаю, — сообщил Сергей. — А вот нынче они еще несколько русских лотов выставили. И твою плачущую Мадонну...

— Она не моя, она с полустанка, — заметил я. — И в смысле покупки еще не моя...

— Будет, — спокойно заверил тезка, подталкивая меня к залу, где уже собиралась весьма разношерстная публика.

Опять же: я представлял себе классических леди и джентльменов. Но тут не было никаких условностей. В классическом стиле было одето весьма немногих людей. Причем, как я понял во время торгов, многие пришли сюда не покупать, а посмотреть, в том числе узнать, кто и что купит. Пока продавали монеты и оружие, я откровенно скучал. Сергей между делом приобрел пару средневековых клинков, на которые я, возможно, обидев его, даже не обратил внимания. Только спросил:

— А как это вывозить?

— По специальным чекам аукциона. Да не волнуйся ты, помни про Кису Воробьянинова, — напомнил он.

— Интересно, почему ворованные предметы продаются тут как с добрым утром?

— Сереж, — вскинул брови Дубинский, — а как продавали вывезенное большевиками в счет погашения долгов перед спонсорами? И до сих пор продают!

— М-да...

Когда дело дошло до лота икон, я, хоть и помнил шутку про Кису Воробьянинова, напрягся. Тезка толкнул меня локтем: расслабься. Но и он напрягся, когда вынесли «плачущую Мадонну», ибо по всему залу полетело легкое цветочное благоухание. Очищающее и просветляющее. Это заметили все. Некоторые даже стали искать источник этого аромата, буквально принохиваясь. Удивительно, но даже в голове, где еще не выветрилось шавли, стало светлее. А на иконе были видны потеки миро... Влажными и ровными следами они ниспадали прямо из глаз Богородицы.

Как можно торговать образом Владычицы нашей с аукциона?! Кто больше заплатит за плачущую Мать Спасителя? На глаза мои выступили слезы... А глазами Богородицы плакали все матери земли. И Она плакала обо всех нас.

Кроме Христа только к Ней обращаются со словами «спаси нас... грешных»...

— Се Мати твоя! — сказал Спаситель с Креста через страшные мучения Иоанну Богослову.

И нам всем сказал...

Сколько стоит этот удивительный, ни с чем несравнимый аромат?

— Десять тысяч евро! — прозвучала очередная цена на повышение, и я вздрогнул. Для меня это были немислимые деньги. Таких я никогда не держал в руках.

— Ten thousand five hundred... — спокойно и хладнокровно отбил атаку Сергей, сжав мое колено: не дергайся.

— Помоги, пресвятая Владычице... — прошептал я и вспомнил вдруг слова из народного стиха, которые когда-то мы изучали на этнографии.

Чудная Царице Богородице!
Услыши молитву раб своих,
Приими наши слезы горячие,
Не лиши нас Царства Небесного.
Избави нас от муки вечныя.

— Ten thousand seven hundred... — Лысый, красный лицом бюргер хотел пополнить плачущей Богородицей свою коллекцию.

Он оставался последним, кроме нас, из тех, кто претендовал на этот лот. В нашу сторону он даже не поглядывал. Только протирал платком потеющую лысину. Может, и несправедливо, но почему-то я очень ярко представил его себе в форме офицера Третьего рейха. Максимум, на что он тянул, — интендантская рота. Такие тысячами хоронили своих соотечественников в Сталинградском котле.

— Щас мы по-русски, — криво и зло, как перед атакой, ухмыльнулся Сергей. И врезал наотмашь: — Fifteen thousand... — а шепотом добавил: — Почему-то торговаться стыдно.

Наконец бюргер удостоил нас взглядом.

— Не «Сотбис» же... Не «Кристис»... Вообще можно было все в Интернете сделать... — бурчал Сергей.

— Fifteen thousand fifty euros, — насмешливо сделал следующий шаг наш оппонент.

— За... — Серега хотел определенно и непереводимо высказаться в отношении упорного немца, но, столкнувшись с печальным взглядом Богородицы, осекся. — Sixteen thousand fifty euros, — парировал он. — Полтинник на чай...

— Sixteen thousand hundred euros... — ответил бюргер, не теряя лица.

— Ну а теперь контрнаступление под Москвой без оперативной паузы, — шепнул мне Сергей.

В этот момент на лице его не было и тени азарта. На нем вообще ничего не было. Такому надо было поучиться. Чтобы взглянуть на себя, я не располагал зеркалом. Думаю, что я-то как раз его компрометировал.

— Twenty thousand euros and fifty more... — Я мысленно перевел озвученную Сергеем сумму на товары и понял, что напротив нее может стоять приличное европейское авто.

Но напротив стояла на специальном мольберте Богородица, из глаз которой текли благоуханные слезы. Зал притих. Бюргер тоже.

— Наконец-то он понял, что я не отступлю, — спокойно сообщил мне тезка.

Бюргер теперь глянул на нас с явной неприязнью. Времени на ответ у него почти не оставалось. Он промолчал. Я лишь шепнул:

— Серега, я потом все верну... Дом этот продам...

— А можно мне тоже делать добрые дела? — обиженно спросил тезка и даже заметно подтолкнул меня плечом. — Из того, что дает мне Бог, могу я вернуть что-то ему?

Устыженный, я молчал.

Икону нам отдали в специальном ящике со стеклянной лицевой стороной. Все-таки прежний хозяин относился к ней бережно. В ящике прямо под иконой была полочка, на которой лежала вата. Я сразу понял, что это для стекающего миро.

Я до этого слышал только об одной иконе, которая мироточила в течение пятнадцати лет. Иверская Монреальская икона Божией Матери. Ее хранитель Иосиф Муньес-Кортес был убит в конце октября 1997 года в Афинах. Икона бесследно исчезла. Может, лежит теперь в частной коллекции в таком же кофре... И плачет. Но вот что интересно: ровно через десять лет после этих печальных событий простая бумажная копия Иверской Монреальской иконы начала мироточить в русском православном приходе Мироточивой Иверской Монреальской Иконы Божией Матери в Гонолулу. Где-то на далеких Гавайях.

Вообще о плачущих иконах (и чаще всего именно Богородицы) есть много свидетельств в русских письменных источниках и, конечно, в византийских. А с некоторых икон капала кровь... На Афоне есть известная икона «Закланная». По легенде, один дьякон, послушанием которого была уборка в храме, часто опаздывал из-за этого на трапезу, а однажды вообще остался без обеда. Обозленный, он вернулся в храм и с криком «Сколько еще служить Тебе?!», мол, и куска хлеба за это не имею, воткнул нож в лик

Пресвятой Богородицы. Из раны потекла кровь. Диакон этот мгновенно лишился рассудка и три года был не в себе. А когда разум к нему по великой милости Божией вернулся, он провел остаток жизни в молитве и покаянии. Таких случаев христианская история хранит много. Текла кровь Богородицы от стрел монгольского войска в русских храмах, от стрел арабов и турок в греческих. Удивительно, как в день отречения последнего императора, в день обретения иконы Божией Матери Державная в 1998 году, — заморочила бумажная копия иконы Царя-Страстотерпца Николая, принадлежавшая православному врачу-хирургу Олегу Бельченко. А ведь царская семья тогда еще не была канонизирована... Много споров было на эту тему, много обвинений в адрес императора и много лжи... Но Собор Русской православной церкви ответил всем. И во внимание более принимались именно последние месяцы жизни венценосной семьи. Вот этот ответ: «За многими страданиями, перенесенными Царской семьей за последние 17 месяцев жизни, которая закончилась расстрелом в подвале Екатеринбургского Ипатьевского дома в ночь на 17 июля 1918 года, мы видим людей, искренне стремившихся воплотить

в своей жизни заповеди Евангелия. В страданиях, перенесенных Царской семьей в заточении с кротостью, терпением и смирением, в их мученической кончине был явлен побеждающий зло свет Христовой веры, подобно тому, как он воссиял в жизни и смерти миллионов православных христиан, претерпевших гонение за Христа в XX веке. Именно в осмыслении этого подвига Царской семьи Комиссия в полном единомыслии и с одобрения Священного Синода находит возможным прославить в Соборе новомучеников и исповедников Российских в лике страстотерпцев Императора Николая II, Императрицу Александру, Царевича Алексея, Великих князей Ольгу, Татьяну, Марию и Анастасию».

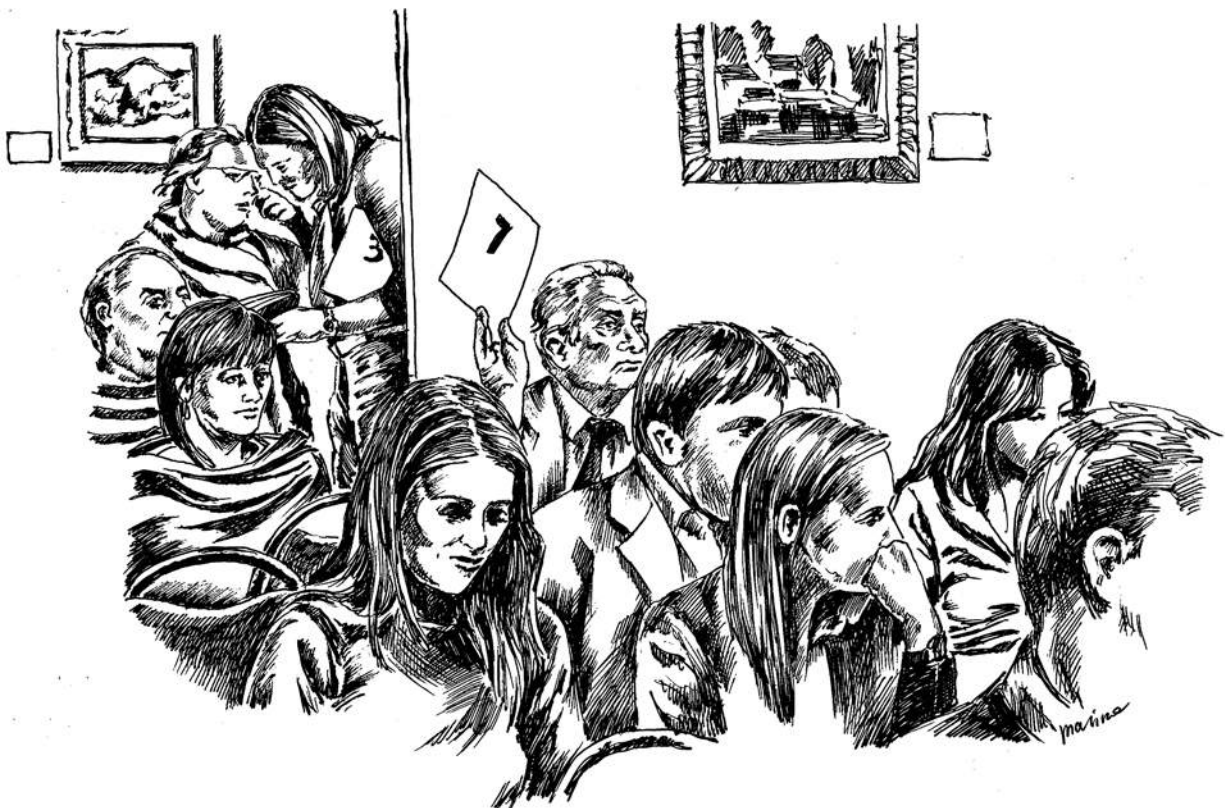
А иконы плакали и мироточили по всей России.

Примечательно, что более всего таких чудес случилось в первой трети XX века во время гонений большевиков на Церковь и в наши печальные смутные 90-е...

— Мне надо в аэропорт, — сказал я Сергею.

— Я думал, съездим на выставку ретроавтомобилей, потом посидим где-нибудь... — начал было Дубинский, но осекся.

Видимо, на лице у меня было что-то такое, с чем уже не поспоришь.



— Ладно, — сказал он, — я отвезу тебя в аэропорт. Полетел бы с тобой, но есть еще дела. Найду тебя в России.

— Теперь проще, — помахал я ему мобильником.

— Расскажешь, как все с этим завершится? — попросил он.

— Обязательно.

— Осторожнее. Не светись нигде. Сегодня, как ты заметил, не гнушаются торговать святынями. И даже убивают из-за этого.

— Рынок, — вздохнул я, — есть спрос, найдется тот, кто сделает предложение.

— Эт точно... Но в мюнхенскую пивную мы с тобой обязательно сходим.

— Сходим.

Я позвонил Гюнтеру, чтобы сообщить ему о своем срочном отлете, избегая при этом подробностей. Он был немного растерян, но я сообщил, что целиком доверяю его честности и профессионализму.

— Вы, русские, так поверхностно относитесь ко многим серьезным вещам, — заметил адвокат.

— Не поверхностно, легко, — поправил я.

— Легко, — повторил он за мной, словно хотел ощутить на вкус и вес это слово. — Позвоните мне.

— Легко, — ответил я перенятым у молодежи способом.

— Сколько значений у этого слова? — озадачился Гюнтер.

— Не считал. Но труднее всего перевести иностранцам поговорку: косил косой косой косой.

— Не понял...

— Я о том же, потом объясню. Всего хорошего.

* * *

Когда я входил на борт самолета, стюардесса с удивлением посмотрела на мой ящик.

— У вас там духи? Парфюм?

— Разве духи так чудесно пахнут?

— Нет, — твердо сказала она.

— У меня там икона.

— И... такой аромат...

— Благоухание. Она мироточит.

— Мироточит? Что это?

В нескольких словах рассказал бортпроводнице об этом чудесном явлении. Потом попросил разрешить везти ящик весь полет на коленях.



— Вообще-то это запрещено. Надо все сложить на полки для ручной клади... Н-но... Раз она такая ценная... Лишь бы пассажир рядом с вами не был против.

Стюардесса была добрым человеком. Думаю, что и благоухание миро тоже повлияло на нее.

— А можно на икону взглянуть?

— Да, конечно, — ответил я и торопливо открыл, как книгу, створку ящика.

— Богородица... Она плачет? Это к беде?

— Никто не знает. Но это предупреждение.

И тут девушка, на груди которой была табличка с христианским именем Ольга, медленно, словно немного стесняясь, перекрестилась. Удивительно, но шедшие за мной пассажиры не торопили и не подгоняли меня. Благоухание поразило всех, даже тех, кто в любом другом случае стал бы ругаться, а то и сквернословить. Лишь какая-то старушка с поклоном попросила у меня немного ваты, намочившей от миро.

— Пожалуйста, — отделил я часть.

— Спаси Господи. Береги ее. Вижу, ты ее домой везешь.

— Домой.

— Россия — дом Пресвятой Богородицы, — сказала старушка и, приложив к груди ватку, пошла на свое место.

Сосед не стал возмущаться, что я держу на руках деревянный ящик. Он лишь, как и стюардесса, попросил показать образ. Я не отказал.



— Знаете, — сказал он, — я шел за вами. Три дня простуда. Нос не дышит. Но когда вы открыли этот кофр, я понял, что не только чувствую запах, но и свободно дышу. Она чудотворная, — уверенно сказал он.

— Да, — ответил я, — еще с прошлого века. Совсем недавно, в конце семидесятых, наверное, с ней связано чудо исцеления. Я везу икону в храм, из которого она была похищена. А чудотворность, вы, наверное, знаете, зависит от веры.

— Да, конечно, но неужели и иконы воруют? Хотя... о чем я? Времена-то нынче какие. Помогите вам Бог.

— Спаси Господи.

Никогда до и никогда после я не летал с таким внутренним спокойствием и удовольствием. Боинг ни разу не качнуло, словно его поддерживали со всех сторон ангелы. Думаю, что так и было. Верю. И удивительное спокойствие, правильное сказать, покой охватили мой разум и душу. И следом за мной, за лайнером тянулось оставшееся за плечами десятилетие.

Нет, это были не воспоминания о человеконенавистнических реформах, о клановых войнах, о

горящем Кавказе, о взрывах и стрельбе на улицах, о том, что каждый год нас становилось на миллион меньше... Нет, я вспоминал, как менялись люди.

Странно. Или, наоборот, все понятно и прозрачно...

Одни становились чуткими к чужой боли и страданиям, жертвенными и милосердными, другие, напротив, — черствыми, жадными, крайне эгоистичными, но самыми страшными были те, кто ставил мир с ног на голову, кто бесстыдно предавал и продавал нашу землю и топтался на святынях ее. И между первыми, хранившими в себе искру Божию, и вторыми все более разверзалась пропасть, подобно той, что описана в притче о богаче и Лазаре в Евангелии от Луки. И были те, что оказались меж двух разбойников...

Мир падал. И от этого падения порой захватывало дух, не от скорости и страха разбиться, а оттого, что бездна под ним была именно бездонной. И с упорным бесстыдством идеологи падения, напротив, твердили со всех экранов и страниц, что мир поднимается на новую ступеньку гуманизма и прогресса. Гуманизм этот, впрочем, периодически подкреплялся ковровыми или точечными бомбардировками тех стран, которые не разделяли безумного восторга падения или имели свое понимание того же гуманизма. Или хотя бы падать предпочитали по-своему. Гуманизм заключался в том, что все продавалось и покупалось, что мужчинам разрешалось спать и вступать в брак с мужчинами, а женщинам с женщинами, а «семьям» таким разрешалось усыновлять сирот, чтобы уродовать их душу и сознание, гуманизм заключался в том, что весь мир оказывался в долгу у ростовщиков, и они, по прихоти своей, объявляли экономические кризисы и дефолты, а также посылали на провинившихся эскадрильи авианосцев. Гуманизм заключался в том, что разрешалось все, что способствовало получению удовольствий, способствовало развращению, похоти и страстям человеческим. Тех же, кто пытался противостоять этому, незамедлительно именовали со всех экранов и страниц мракобесами, называли прислужниками тиранов и тоталитаризма, предавали забвению или просто уничтожали всеми возможными способами.

А я заглядывал порой в тетрадь профессора, и хотелось мне написать еще одну главу «теории упущенных возможностей» или «теории выбора», но теперь уже о глобально упущенных возможностях и уменьшающихся шансах правильного выбора. Ибо чем быстрее и глубже совершалось падение мира, тем меньше оставалось выступов,

за которые еще можно было зацепиться, чтобы, срывая ногти, начать карабкаться к небу...

И Родина моя, обогнавшая вначале по скорости падения всех и вся, зацепилась вдруг на переломе тысячелетий молитвами святых своих и жертвами мучеников и страстотерпцев за покров Пресвятой Богородицы, Домом которой была названа... Зацепилась, выкарабкалась на уступ и стала противовесом всему миру. Хрупкая, неокрепшая, поедаемая врагами внешними и внутренними, разлагаемая изнутри вирусом потребительства, но все же стояла укором тем, кто звал ко всемирному братству людоедов. Но ко времени этому многие из тех, кто не ушел в пустынь и оставался в миру, уже не могли бороться. Не только за Родину, но и сами с собой. Это был не смертный грех уныния, это было отчаяние. И те, кто держал в руках настоящее оружие, откладывали его в сторону, потому что последним оружием оставались теперь молитва и Слово Божие. И последний рыцарский принцип «Делай что должен, и будь что будет». Кому только не приписывали этот афоризм: Катону Старшему, Марку Аврелию, благородному рыцарю Томасу Мэлори, одному из рыцарей Круглого стола, Льву Толстому, индийским йогам, другие считали это просто французской поговоркой. Да уж, ныне во Франции такая поговорка бы не прижилась... Немного по-другому, но в общем смысле она звучит так: «Делай что должно, и пусть будет что будет». Неважно, кто, когда и где сказал, но для России последних времен эта фраза подходила больше всего. Для тех, кто еще охранял границы урезанной державы, кто учил детей, кто лечил людей, кто молился и проповедовал в храмах, кто помнил великое самоотречение преподобного Сергия Радонежского и жертвенность заступников Земли Русской — князей, воевод и простых воинов.

Как-то на прокуренной кухоньке старой брежневки мы вечеряли с одним известным некогда писателем, преданным рыночной конъюнктурой забвению, потому что писать на потребу он не хотел и не стал. Он продолжал делать то, что делал всегда. На мой вопрос о том, не жалеет ли он об упущенной возможности «остаться на плаву», он сначала иронично заметил, что не тонет только дерьмо, а потом уже серьезнее, задумавшись до морщин, всплавающих его лоб, произнес:

— Даже если бы не вышло ни одной моей книги, я бы делал то, что я делал. Почему? Потому что я верю в Бога. А значит — один и самый главный читатель у меня все равно всегда есть. Всегда. В этом «всегда» — вечность. Как это ни парадоксально, но для писателя «выйти в тираж», с

одной стороны, означает как раз лавры и прибыль, но с другой — все тиражные писатели уходят в забвение, ибо служат сиюминутным страстям и похотям века сего...

— Да, — вспомнил я, — какие там беллетристы обгоняли в тиражах Пушкина, Гоголя, Достоевского? Не вспомнить теперь...

И вечное оставалось вечным. Взывал Федор Михайлович в «Дневнике писателя» еще в XIX веке, и можно было кричать за ним в нынешнем: «Что правда для человека как лица, то пусть остается правдой и для всей нации. Да, конечно, можно проиграть временно, обеднеть на время, лишиться рынков, уменьшить производство, возвысить дороговизну. Но пусть зато останется нравственно здоров организм нации — и нация, несомненно, более выиграет, даже и материально». И взывал Достоевский уже ко всему миру: «Нет, надо, чтоб и в политических организациях была признана та же правда, та самая Христова правда, как и для каждого верующего. Хоть где-нибудь да должна же сохраняться эта правда, хоть какая-нибудь из наций да должна же светить. Иначе что же будет: все затемнится, замешается и потонет в цинизме». И только Достоевский — час назад приговоренный к смерти и только что высочайше помилованный — мог в письме к брату писать так: «Брат! Я не уныл и не упал духом. Жизнь везде жизнь, жизнь в нас самих, а не во внешнем. Подле меня будут люди, и быть человеком между людьми и остаться им навсегда, в каких бы то ни было несчастьях, не унывать и не пасть — вот в чем жизнь, в чем задача ее... Как оглянусь на прошедшее да подумаю, сколько даром потрачено времени, сколько его пропало в заблуждениях, в ошибках, в праздности, в неумении жить, как не дорожил я им, сколько раз я грешил против сердца моего и духа, — так кровью обливается сердце мое. Жизнь — это дар, жизнь — счастье, каждая минута могла быть веком счастья». И кто из тех, кто остался стоять в поредевших изрядно рядах хранителей Правды Высшей, не мог бы повторить за ним этих слов?

А с какой силой звучит завещание Гоголя! С какой христианской силой! Да кто читал его в наше-то безумное время!?

«Но как полюбить братьев, как полюбить людей? Душа хочет любить одно прекрасное, а бедные люди так несовершенны и так в них мало прекрасного! Как же сделать это? Поблагодарите Бога прежде всего за то, что вы русский. Для русского теперь открывается этот путь, и этот путь есть сама Россия. Если только возлюбит русский Россию, возлюбит и все, что ни есть в Рос-

сии. К этой любви нас ведет теперь Сам Бог. Без болезни и страданий, которые в таком множестве накопились внутри ее и которых виною мы сами, не почувствовал бы никто из нас к ней сострадания. А сострадание есть уже начало любви. Уже крики на бесчинства, неправды и взятки — не просто негодование благородных на бесчестных, но вопль всей земли, послышавшей, что чужеземные враги вторгнулись в бесчисленном множестве, рассыпались по домам и наложили тяжелое ярмо на каждого человека; уже и те, которые приняли добровольно к себе в дома этих страшных врагов душевных, хотя от них освободиться сами и не знают, как это сделать, и все сливается в один потрясающий вопль, уже и бесчувственные подвигаются. Но прямой любви еще не слышно ни в ком — ее нет также и у вас. Вы еще не любите Россию: вы умеете только печалиться да раздражаться слухами обо всем дурном, что в ней ни делается, в вас все это производит только одну черствую досаду да уныние. Нет, это еще не любовь, далеко вам до любви, это разве только одно слишком еще отдаленное ее предвестие. Нет, если вы действительно полюбите Россию, у вас пропадет тогда сама собой та близорукая мысль, которая зародилась теперь у многих честных и даже весьма умных людей, то есть будто в теперешнее время они уже ничего не могут сделать для России и будто они ей уже не нужны совсем; напротив, тогда только во всей силе вы почувствуете, что любовь всемогуща и что с ней возможно все сделать. Нет, если вы действительно полюбите Россию, вы будете рваться служить ей; не в губернаторы, но в капитан-исправники пойдете, — последнее место, какое ни отыщется в ней, возьмете, предпочитая одну крупницу деятельности на нем всей вашей нынешней, бездейственной и праздной жизни. Нет, вы еще не любите Россию. А не полюбивши России, не полюбите вы своих братьев, а не полюбивши своих братьев, не возгореться вам любовью к Богу, а не возгоревшись любовью к Богу, не спасетесь вам». Кто бы подумал, не скажи ему, что это из переписки Гоголя с друзьями. И звучит так, словно вчера или сегодня это письмо написано...

Делай что должно, и пусть будет что будет.

Будто мне самому это письмо Гоголь писал.

И если вдруг казалось мне по слабости моей, что мне хуже всех на свете, Бог посылал мне навстречу людей с таким горем, с такою бедою, что моя становилась песчинкою несчастья. И сердце мое разрывалось одновременно от сострадания и от стыда за свое малодушие. По сути — за маловерие.

Часто я падал. Падал один. Падал со всеми. Но не поднимается тот, кто не падает. А подниматься можно, только перешагнув свою маленькую гордыню. Гордыню даже... Тот же Гоголь писал в письмах друзьям, что в мире ныне действуют два вида гордости, мешающие понять нам Светлое Христово Воскресение. «Первый вид ее — гордость чистотой своей. Обрадовавшись тому, что стало во многом лучше своих предков, человечество нынешнего века влюбилось в чистоту и красоту свою. Никто не стыдился хвастаться публично душевной красотой своей и считать себя лучшим других. Стоит только приглядеться, каким рыцарем благородства выступает из нас теперь всяк, как беспощадно и резко судит о другом...» И немного ниже: «Есть другой вид гордости, еще сильнейший первого, — гордость ума». Не так ли, братья! Да откройте письма Гоголя, читайте сами. Будто не в XIX веке, а в нашем писано!

Гордость и недостаток любви в каждом... И недостаток смирения. Как мы, выходя из храмов, где только что соприсутствовали таинствам, уже начинаем погружаться в суету и осуждать тех, кто стоял с нами рядом на службе. Мелко, мелочно... А мир вокруг рушится.

И, вчитываясь в Евангелие, поражаюсь я всеобъемлющей любви Христовой, когда Он, преодолевая муки, с Креста Своего просил Отца простить распинавших Его и хулящих Его. И великому смирению Богородицы, стоявшей у Креста, поражаюсь я. И такой объем любви и сострадания не помещался в моем изъеденном страстями сердце, потому проливался покаянными слезами, которые я прятал от окружающих, чтобы не выглядеть странным, юродивым каким-то...

И что я хотел сказать всем этим полетным отступлением? И смог ли...

* * *

Небо над Родиной расчистилось. Огромная Москва открылась еще издали. И видны были все кружащие над столицей самолеты, и блистали на весеннем солнце купола храмов. Подумалось: не благоухание ли мироточивой иконы разогнало облака и тучи? Так или иначе, но когда пристегнули к нашему самолету змеевик трапа-перехода и открыли дверь, техники с той стороны борта даже отшатнулись и остолбенели. Написал бы «как черти от ладана», но это было другое. Куда подевался привычный запах химжидкости для обработки салона?

И люди в порту подолгу смотрели мне вслед, а я смущался от этого внимания. И очень боялся,

чтобы какие-нибудь обстоятельства и злые силы не помешали мне доставить икону в ее дом. С другой стороны, в буквальном смысле чувствовал защиту, которой она покрывала все пространство по пути моего следования.

— Что у вас там? — удивленно спросил таксист, глядя на короб, что прижимал я к груди, и за чем-то понюхал автомобильный дезодорант, что стоял у него на приборной панели. Видимо, хотел понять источник аромата.

— Икона.

— А... — будто все понял и оценил. — Так в Домодедово? — переспросил.

— Да, у меня внутренний рейс оттуда.

— А прилетели откуда?

— Из Германии.

— Че там? Ровно все у них?

— Где сейчас ровно?

— Ну все равно там лучше, чем у нас, — отмахнулся таксист, и звучало в его фразе наше вечное преклонение перед «забугорным».

— Чем лучше? — спросил я на всякий случай.

— Всем. Машины лучше, зарплаты выше, пенсии.

— Если в этом счастье и красота, то тогда, конечно, лучше, — уклончиво согласился я.

— А в чем еще? — почему-то обозлился он.

— Да каждый сам выбирает, в чем.

Какое-то время мы молчали, почувствовав друг в друге если не врагов, то противоположности. Некоторые таксисты умеют долго и многозначительно молчать, некоторые — нет. Этот был из вторых.

— А пахнет сильно. Цветами какими-то весенними, — покосился он на кофр на моих коленях. — Глянуть-то можно?

— Можно. — Я открыл, как книгу, ящик.

— О! Богоматерь, — уважительно сказал таксист и потом увидел: — Она плачет! Это слезы ее так пахнут?

— Да.

— Так что нам теперь, горя ждать?

— Совсем не обязательно. Но плакать о нас... Как бы это сказать? В общем, всегда есть о чем плакать. А Она, глядя, во что мы превращаемся, куда мы идем, Она — плачет...

— Да. — Тут уж он согласился. — Че в мире творится! Че в России творится. Спекулянтов теперь менеджерами называют. В школах непонятно чему учат. — И неизбежно вернулся к своему: — А машины так делать и не научились. Военные только. Вот в той же Германии какие авто делают! У меня был прежде «Фольксваген Пассат» — надежный, неубиваемый. Я его продал,

подкопил там еще, а теперь у меня «Ауди А6» — вообще сказка. Вся моя жизнь!

Вот так: хороший, несомненно, немецкий автомобиль для русского таксиста — вся его жизнь.

— А на этом стареньком форде я только такую, — словно оправдываясь, сообщил он.

— Ага, — кивнул я.

— Сыну купил «бэу». Тройку. Для начала потянет.

— Потянет, — согласился я, а что я еще мог ему сказать?

— И я говорю. Дочка вот тоже просит. Такую же. Только красную. У сына-то — черная. Но пока не заработали.

Одно радовало, он не хотел украсть, он не думал об откатах, он хотел заработать.

— Заработаете, — уверенно сказал я.

— Да лишь бы дефолта какого опять не было...

— Думаю, не будет.

— А если цены на нефть опять упадут?

— Они не падают, их специально роняют.

— Так а я о чем? Сидят американские банкиры и решают, как им Россию опустить. Им, конечно, просто, они и деньги сами печатают, баксы эти. Я тут одну книжонку читал, клиент оставил, там про всю их финансовую систему, про фэрэ-эс эту. Короче, жулики они. Как думаете, война будет?

Мне бы быть огорошенным его вопросом, но я почему-то спокойно ответил:

— Будет. Куда деваться. И у Иоанна Богослова в Апокалипсисе об этом сказано.

— Вот и я думаю. У нас столько ресурсов. Территория такая большая. А осталось-то нас — всего ничего. Но ведь у нас ракеты есть!

— Они прямо на нас не пойдут. На Ближнем Востоке начнется.

— Так там тоже нефть.

— И нефть тоже...

Снова помолчали. Каждый думал о своем. А потом он вдруг радостно сообщил:

— Башка перестала болеть. С утра сегодня маялся. Уж хотел в аптеку в порт идти, обезболивающего какого купить, в машину че-то забыл положить. А щас прошла, свежая стала.

— Это она, — посмотрел я на икону. — Рядом со мной в самолете мужик грипповал, так вышел из салона здоровый.

— Да ну!

— Серьезно.

— Ух ты, и сколько такая стоит?

— А сколько стоят слезы Матери, которая родила Бога?

Он серьезно задумался. Даже губу закусил.

— Вы серьезно в это верите?

— Верю.

— Ну... я тоже... детей-то крестил. И меня ма-
маня крестила. И брата младшего, и сестру стар-
шую. Тогда в Подмоскowie все ездили детей кре-
стить, чтоб никто на работе не узнал. А то ведь в
октябрята-пионеры не примут. Из комсомола по-
гонят.

— Было такое...

— Но ведь не все плохо-то было?! Че уж там го-
ворить-то.

— Да все было хорошо, только без Бога жили.

— Так а че он белым в гражданскую не помог?

— Ну, во-первых, у нас свободная воля, Бог в
ее проявления не вмешивается, во-вторых, бе-
лые воевали не за «веру, царя и отечество», а за
свои интересы, потому и на их стороне правды
не было. Почти все генералы от царя отреклись,
присяге изменили, так что помогать-то особо и
некому было.

— Так он че, вообще ни на чьей стороне не был?

— А на чьей вы будете стороне, если ваша
старшая сестра с вашим младшим братом воевать
будут?

— А?... — Таксист слегка оторопел, но потом
твердо сказал: — Да я бы обоих их проучил, чтоб
больше так делать не смели!

— Вот вы и ответили на свой вопрос. Только мы
сами себя проучили, но выводов, похоже, так и не
сделали.

— Вы это... не профессор какой-нибудь?

— Нет, я школьный учитель.

— Ну... все равно. Как с нынешними детьми-то
работать?! — перевел он тему.

— Да как во все времена.

— Ну вы мне че не говорите, а народ глу-
пее стал. Я и то на своем месте тут вижу. И дети
тоже. Интернет да телевизор! Я вот еще с со-
ветских времен, пока клиента ждал, книги читал.
Детективы, конечно, там всякие, Пронина, Вай-
неров... В академики не выбился, но знаю — без
книги люди дураки! Хоть сколько они учебников
прочитают и хоть какие дипломы у них на руках.
Ду-ра-ки! — разбил-акцентировал таксист, и был
прав. — В тырнете-то этом, как на заборе, кто че
хочет, тот то и напишет...

— Да и в книгах теперь также.

— А кому тогда верить?

— Богу. Ей, — указал я на короб с иконой.

И потом я рассказал ему историю про исцеле-
ние Маши.

— Не возражаете, если я закурю?

— Да я-то нет. Сам курю. Но вот как икону в
руки взял, еще не курил.

Он не обратил на последнюю часть моей фра-
зы внимания, достал сигарету, прикурил и не-
сколько раз жадно затянулся.

— Может, это совпадение? Случайность? Ну, с
девушкой этой?

— Не мной сказано: случайность — это непо-
знанная закономерность.

— Не, ну вы точно — философ.

— Да нет.

— Значит, ей эта икона помогла?

— Богородица, но, видимо, через этот об-
раз. И вера... Верить надо.

Мы уже подъезжали к Домодедово. Он
еще раз затянулся, посмотрел на сигарету с со-
мнением:

— Горечь какая-то... Тьфу... — и выбросил не-
докуренной в окно. — Я вот что хочу вас попро-
сить. У меня внучка, ну, дочь сына, Светланка, она
тоже болеет. У нее астма. Маемся с ней. На все
аллергия. Может, попробуем ее вашей иконой
полечить?

— Она не моя. Я ее в храм везу, откуда ее
украли. И полечить... Это неправильное слово.
Полечить препаратами, электрофорезом каким-
нибудь можно, а это... Она исцеляет. Но для исце-
ления вера нужна. Настоящая. Или Промысл Бо-
жий. Ну, чтоб Он на ком-то показал это чудо для
наставления других.

— Так, может, он на Светланке нашей покажет?

— Я бы... никогда не отказал. Но у меня само-
лет через три часа...

— Может, вы сами не верите? — прищурился на
меня таксист.

— Верю. Но не всем дается. Чудес по заказу не
бывает. По вере... По молитве праведника... По
искренней молитве грешника...

— Так надо проверить! Задыхается у меня де-
вочка! А так-то умница. Че вам стоит попробо-
вать?! Я вам новый билет куплю, если опоздаем.
Это же ребенок, понимаете!?! У меня — старого
дурака — и то голова прошла! Погода-то вон ка-
кая нынче — солнце, весна!

— Поехали, — обреченно согласился я. — Но
помните, чудес по заказу не бывает.

— Мы успеем. Сын-то у меня как раз на Кашир-
ке живет. От матери моей там квартира осталась.
Успеем.

«Помоги. Пресвятая Владычица», — мысленно
попросил я.

— Меня вообще-то Валерий Андреевич звать, —
таксист протянул руку, которую я пожал, — но
все кличут меня просто — Андрееч.

Те, кто пережил 90-е в России, не могли не
подумать в таком случае: никуда нельзя ездить с

посторонними людьми, особенно в Москве, особенно если у вас в руках вещь, которую можно оценить в рублях, долларах, евро... И знают, что как таксисты подвергаются нападениям, так и сами их совершают, а то и просто подставляют клиентов криминальному миру. Я — уже ученый, битый, стреляный — обо всем этом, грешным делом, подумал. Но решил в пути этом полагаться на Защитницу рода человеческого.

* * *

Андреич юркнул с шоссе в микрорайон, где стояли плотными рядами пятиэтажки брежневских времен. Серые и однотипные. Зато была между ними какая-никакая зеленая зона. Клены, липы, кое-где тополя... Говорят, последние вырубают из-за тополиного пуха и массовой аллергии на него.

Где-то вдали я увидел здание старого, еще советского кинотеатра «Эльбрус». Смотрели там с двоюродным братом популярное индийское кино «Мечь и закон». Но, похоже, сейчас там был уже не кинотеатр. Я спросил об этом у таксиста.

— Там театр, уже без кино. Роману Виктюку, пи... — он выругался, — этому отдали. А он половину в аренду сдал, а на другой школу танца открыл да пакости свои репетирует.

У одной из пятиэтажек форд остановился.

— Двигаем!

Мы подошли к подъезду с обновленной железной дверью, и, набрав номер домофона, таксист прокричал:

— Алла, открой, это я.

На четвертом этаже для нас уже была открыта дверь. С маленькой кухоньки вышла молодая женщина в халате.

— Алла, вот, это Сергей, у него икона чудотворная, времени у нас мало, Светлана где? — изложил Андреич.

— Во дворе, вот-вот подойти должна. Вечер никак. Здравствуйте, — это уже мне.

— Здравствуйте.

— Мобильник у нее с собой? Звони быстрее, времени у нас мало — человек на самолет опоздать может.

— Нам бы еще священника, молебен... — неуверенно предложил я.

— Да, священника, — сразу согласился Валерий Андреевич и на минуту задумался. — Ага! Есть священник. Отец Герман — в какой квартире? — оживился он.

— Да он на службе еще небось. — Алла смотрела на всю эту суету с сомнением.

— Алла! — потряс ее за плечи свекор. — Алла, у меня головная боль сразу прошла! Понимаешь?

— Это от нее такой запах? — спросила Алла.

— От нее! Батюшка, говорю, в какой квартире?

— Да не кипишитесь вы, папа, щас я им позволю. Матушка Нина все равно дома. У них Наташка тоже болеет. В школу не пошла нынче.

Алла ушла в комнату, куда и меня стал подталкивать Валерий Андреевич.

— Давай, Сергей, давай. — Вот так у нас становятся на ты, без всяких реверансов.

Гостиная в этой квартире, похоже, не ремонтировалась с тех самых брежневских времен. Ярким пятном — ковер на стене. Атрибутика советского уюта и определенного достатка. Мебель — сразу узнал — югославский комплект, не каждому удавалось такой заиметь. Из современного — только плоский экран телевизора и дивиди-плеер под ним. Стол и стулья из той же эпохи... И окна немые несколько лет. «Полустанок», — подумалось мне.

— Матушка, нам он очень нужен, тут икону какую-то папа притащил, пахнет от нее чудно, говорит, Светланке помочь может. В храм? Да некогда. Человек, у которого икона, на самолет опаздывает. Вы уж позвоните отцу Герману, в долгу не останемся.

Она положила трубку и тревожно посмотрела на нас, стоявших у входа.

— Да садитесь, я пока чай вам поставлю.

Мы послушно сели.

— А посмотреть-то можно? — в который раз за эти сутки я слышал эту просьбу.

Молча открыл короб, и комнату наполнило благоухание.

— О! Так она плачет! Это ничего, что она плачет? Хуже не будет? — насторожилась Алла.

— Не будет, — твердо ответил я.

— Она уже одной девочке помогла, — доложил Андреич.

— Ну-ну... — И ушла на кухню.

— Бабы, они ничего не понимают, — прокомментировал Андреич, но, глянув на печальный лик Богородицы, осекся и даже перекрестился: — Прости, Царица Небесная, я не про всех.

Чай мы пили минут двадцать. Я откровенно нервничал.

— Потерпи, успеем, — уговаривал меня поминутно Валерий Андреевич.

— Деда! — Это пришла с улицы Светлана, девочка лет десяти.

Большие серые умные глаза девочки посмотрели на икону.

— Почему она плачет? — сразу по-детски напрямую спросила она.

— Бог только знает, — ответил Валерий Андреевич. — Вот сейчас все цветы начнет, и она снова задыхаться будет. И если нервничает — задыхается, и когда нагрузка большая, — сообщил он мне вполголоса, будто Светлана могла этого не слышать.

Девочка была ладная. И сразу видно — добрая. Есть такой тип детей — независимо от окружения, обстоятельств, воспитателей и школы — они всегда остаются светлыми и добрыми. Такими, о которых говорил Христос, упрекая апостолов, что не хотели пускать к нему детей. Их непосредственность открывает души...

Отец Герман пришел на сороковой минуте ожидания. Быстро все понял, увидев образ Богоматери.

— Мироточит. Но надо это подтвердить, доказать...

— Я знаю, везу ее в храм, откуда она была похищена. Мой друг выкупил ее на аукционе в Германии.

— Господи, спаси и сохрани, — осенил себя крестным знаменем отец Герман и поклонился иконе. Потом осмотрелся по сторонам, взглянул на Валерия Андреевича и несколько иронично спросил: — Вы прямо сейчас хотите чуда?

— Так это... батюшка... у меня самого голова сразу прошла...

— А вы? — Отец Герман посмотрел на меня. — Тоже сторонник чудес по заказу?

Я смутился.

— Нет. Но у человека, который рядом со мной летел, прошло гриппозное состояние. У Валерия Андреевича, если ему верить, — голова. И одной девушке эта икона точно помогла. Но я знаю, что чудес по заказу не бывает...

— Вот все вам чудо подавай! — безнадежно вздохнул священник. — И чтоб этот, как его, пиар на весь свет.

И тут я вдруг почти вспылил:

— А знаете, батюшка, я бы не прочь, чтоб чудес было больше! Россия уже выстрадала столько, что не помешало бы. И я бы рад увидеть Христа, идущего по городам и весям, исцеляющего больных, изгоняющего бесов, несущего любовь и надежду!

— Э-эх! — вздохнул снова батюшка. — Да кто ж против. Но вот узнают ли Спасителя на улицах городов наших? А? Вы об этом думали? А то, может, как организатора несанкционированных проповедей и акций в кутузку потащат?

Я опустил голову. Была своя правда в словах отца Германа.

— Батюшка, мы молебен-то будем... — несмело вмешался в наш разговор Андрееч.



— Поставьте икону... Сюда... Во имя Отца и Сына и Святого Духа...

Мы покорно встали за спиной священника.

— Заступнице усердная, Мати Господа вышнего, за всех молиши Сына Твоего, Христа Бога нашего, и всем твориши спастися, в державный Твой покров прибегающим. Всех нас заступи, о Госпоже, Царице и Владычице, иже в напастех, и скорбех, и в болезнях обремененных грехи многими, предстоящих и молящихся Тебе умиленною душою и сокрушенным сердцем пред пречистым Твоим образом со слезами и невозвратно надежду имущих на Тя, избавления всех зол, всем полезная даруй и вся спаси, Богородице Дево: Ты бо еси божественный покров рабом твоим...

Этот тропарь посвящен Казанской иконе Божией Матери, но, видимо, именно он первым пришел на память батюшке. А вообще икона больше была похожа на список Абалакской, и отец Герман словно услышал мои мысли, начал молебен именно к ней:

— О Пресвятая Владычице моя Богородице, милосердия сущи источник, покрове, упование и прибежище христиан! Тебе, Всесильней Предстательнице и Споручнице покаяния и спасения мо-

его, аз, грешный раб Твой, вручаю душу и тело мое, входы и исходы моя, веру и жительство мое, кончину и число дней моих, глаголы и помышления моя, дела и начинания моя; Ты же, милостивая Мати Божия, мною руководи, покрывай, соблюдай и спасай мя от всех вражеских козней не- вредимо, да немолчно, до последнего издыхания моего, взываю Ти: Радуйся, Невесто невестная! Радуйся, Святая, святых большая! Пресвятая Бого- родице, спаси мя! Аминь!

Об иконе я слышал, что она помогает при пара- личе и расслаблении, а также при болезни глаз. Но нам выбирать не приходилось.

Время потеряло счет. Я совсем забыл про са- молет. Полчаса или минут сорок читал отец Гер- ман кондаки и икосы, заглядывая в книгу, что при- нес с собой. А когда закончил, упал на колени и достал лбом пола. И мы следом за ним. Потом поднялся, оглядел всех.

— Помоги, Господи...

— Светланка, как ты себя чувствуешь? — пото- ропился Валерий Андреевич, и отец Герман глянул на него осуждающе: мол, все же по заказу и все сразу хочешь?

— Нормально, — ответила девочка.

Отец Герман благословил ее и направился к вы- ходу. На пороге остановился и обернулся ко мне:

— Везите Ее домой, — и еще раз поклонился образу: — Благоухает-то как. Берегите!

А я опомнился — кинулся за благословлени- ем. И лишь потом поглядел на часы. Через два- дцать минут начнется регистрация. Опоздаю...

Когда мы с Андреем вышли на улицу и на- правились к машине, он вдруг запричитал: мол, одного раза, наверное, мало, надо бы еще помо- литься. Признаться, чего-то подобного я ожидал, хотя оставил Светланке ватку, пропитанную миро, а Валерию Андреевичу — номер своего сотового и адрес полустанка.

— Может, продашь? — глядя в педали под нога- ми, уже сидя за рулем, выдавил из себя таксист. — Ничего не жалко.

— И «Ауди»? — грустно ухмыльнулся я.

— Да хоть и «Ауди»! — вскинулся он.

— Выходит, не вся жизнь — «Ауди»?

— О чем ты?! Это же внучка! На! — Он вдруг достал из кармана ключи с лейблом Audi. — Заби- рай! Оставь икону!

Честно говоря, в этот момент я искренне за- уважал Андрееча. Чудо еще не свершилось, но он верил, что Богородица поможет, и готов был от- дать за это то, что еще недавно называл «вся моя жизнь». Да, не понять наш народ. Никому. Даже нам самим.

— Ты же понимаешь, Андрееч... Я не могу так поступить. Это будет предательство по отноше- нию к Ней. — Я погладил рукой лицевую сторону ящичка, в котором лежала икона.

— У-у-м... — буквально проныл он что-то не- членораздельное. — Ты бы видел, как она задыха- ется! Один раз чуть не умерла...

Я был в полной растерянности. Сердце рвалось не меньше, чем у Андрееча. И, наверное, я так и сидел бы в нерешительности, но тут к нашей ма- шине подошел здоровый парень в спортивном ко- стюме и постучал в мое окно. Надо сказать, что вышел он из двухсотого «крузака» белого цвета с номером 001.

— Вас к телефону, — сказал он, протягивая мне мобилу.

Я с нескрываемым удивлением поднес теле- фон к уху.

— Серега! — услышал я голос Дубинского. — Ты на самолет опоздаешь и икону не довезешь. Садись к моему водителю, он тебя доставит. Не теряй времени.

— Ты что... Приставил ко мне кого-то?

— Да называй как хочешь, ты бы видел себя в аэропорту. Как не от мира сего. Садись в машину и вези икону туда, куда должен. Ты последний раз когда питался? В туалет — когда ходил?

— Не помню...

— То-то! Садись, а то и мои не успеют.

Я послушно вылез из машины Андрееча и проследовал за водителем «крузака», что успел представиться Олегом. Взяв у меня трубку, он вы- слушал еще какие-то инструкции, ответил:

— Да, Сергей Романович, — и положил трубку в карман спортивной куртки.

Потом нежно, но весьма требовательно за- брал у меня ящик с иконой и положил на заднее сиденье, а мне вручил бутылку минеральной воды и пирожки. И тут я действительно понял, что хочу есть, пить, спать, в туалет и, прости Господи, ку- рить... И все это — вместе.

Вышедший из машины Андрееч печально смо- трел нам вслед. Появлением Олега он был ого- рошен. В руках он держал ключи от «всей своей жизни», которую готов был отдать ради здоровья внучки.

За все время дороги, нарушая все мыслимые правила, Олег сказал только одну фразу:

— Чудный запах. Жена потом спросит, чьи духи.

— Духи так не пахнут.

— Это вы ей попробуйте рассказать.

Больше до Домодедово он не проронил ни сло- ва. Да и я был занят пирожками и воспоминания- ми... Почему-то именно сейчас мне вспомнилось,

как vez меня на своей «девятке» Миха. Вина за его смерть не оставила меня все эти годы. Я считал себя трусом и предателем. И хотя исповедал этот грех своему духовнику, а он, в свою очередь, сказал, что моей вины тут нет, она меня не покидала. Участковый рассказал мне, что отец Миши умер от пьянки еще в перестройку, мать умерла от рака чуть позже, а единственная сестра сгинула где-то на просторах нашей необъятной Родины.

— Плечевой работала, — сообщил он.

— Что это за профессия такая? — проявил я свою неосведомленность.

— Проституткой на дороге. Дальнобойщиков обслуживала.

Сколько людей сгинуло в никуда в это смутное время? А телевизор все это время надрывался о каких-то там свободе и демократии. Помнится, с интересом читал афоризмы начальника внешней разведки СССР Леонида Шебаршина, был там такой: «Если бы Господь не хотел, чтобы люди смотрели телевизор, он бы его не изобрел. А бес подsunул телеведущих...» У него же: «Через телевидение духовную пищу народу дают не только пережеванной, но и переваренной». Но более всего я любил повторять за ним: «Губят Россию грамотность без культуры, выпивка без закуски и власть без совести». Умнейший был человек.

На какое-то время я отвлекся от печальных мыслей, вспоминая книгу Шебаршина. Хотел было процитировать несколько афоризмов Олегу, но он сурово и сосредоточенно смотрел на летящее под колеса со скоростью, превышающей скорость «Ан-2», шоссе. Очень хотелось мне сказать ему от Шебаршина: русские медленно запрягают... но быстро ездят, не в ту сторону. Оценил бы, наверное. Но Олег сосредоточенно молчал.

А вот Миха успевал балагурить. И снова чувство вины подступило к горлу. Отложил пирожок в сторону.

Чувство вины приходит ко мне не только за совершенные мною проступки и греховные шаги, но и за несовершенное добро. И особняком среди них стоят Мишина смерть и потеря Маши.

Единственное, что мне теперь оставалось, — ухаживать время от времени за могилой Михаила Воронцова (фамилию и ту я узнал после его смерти), как и за могилой тети Изольды теперь...

Но кто мог вылечить эту боль? Только Бог. И был единственный человек, который мог ее заслонить. Маша.

Время уходило...

Почему-то мне вдруг ярко представилось, как я опоздал на самолет, Олег или я сам звоним Сергею, а он нас отправляет на Казанский вокзал. Там

мы садимся на поезд № 1 Москва — Владивосток и едем вместе с очарованными Россией иностранцами по тому самому Транссибу. Да, для тех, кто не знает: у иностранцев проехать по Транссибу от Москвы до Дальнего Востока считается престижным путешествием. Это мы морщимся от долгой езды, пластиковой пищи, пропахших потом купе, отсутствием душа или очередь в него в дежурном вагоне, а для них — это почти комфортный экстрим.

Воображение у меня богатое, поэтому если я начинаю думать об опасностях и неприятностях, то они накручиваются одна на другую. И я вдруг вижу себя сталкивающимся лоб в лоб с теми, кто еще в 90-е годы положил глаз на мою квартиру. И они уже знают, что в руках моих кофр с дорогой чудотворной иконой. Без разговоров меня бьют чем-то тяжелым по затылку так, что слова и мысли рассыпаются в голове на отдельные буквы и свет меркнет. И ужас... нет, не ужас больницы или смерти, а ужас от бессилия, которое я уже испытал в свое время, ужас оттого, что я не довел Богородицу в Ее дом...

Наверное, я так ярко представлял себе все эти картины, что лицо мое выражало нечто привлекающее внимание. Такое, что и суровый Олег посмотрел на меня с тревогой.

— Все в порядке? — спросил он, когда мы уже подъезжали к парковке Домодедово.

— Да. Пока все в порядке.

— Через минуту регистрация закончится, — констатировал он. — Если не успеем, у меня есть инструкции от Сергея Романовича...

Эх, Серега, Серега! Видать, потерло тебя жизнью, раз ты все предусматриваешь наперед.

И, в сущности, внутри себя я уже готов был к опозданию, хотя совсем не жалел о том, что пытался помочь в это время маленькой Светланке. И действительно, на регистрации девушки только пожалы плечами, отправили меня в офис авиакомпании, куда я буквально влетел, прижимая к себе икону. И снова благоухание мира наполнило комнату и заставило всех посмотреть на запыхавшегося молодого мужчину.

— До рейса еще полчаса, посадите Христа ради! — почти прокричал я. — На Тюмень!

— У вас багаж есть? — спросил молодой человек с бюджетом авиакомпании на груди, где значилось, что он Богдан.

Богдан, значит, Богом данный...

— Нет! Только вот это, — протянул я на руках кофр с иконой.

— А запах? — насторожилась девушка за стойкой.

— Вот! — не стал тянуть я и открыл дверцу ящика.

— Богоматерь...

— Плачет...

— Это ее слезы издают такой запах?

— Куда вы ее?

— Домой, из вынужденной эмиграции возвращаю. Ее похитили, — ответил я на все вопросы сразу.

— Пойдемте, я вас провожу в зону посадки, — пригласил Богдан и сразу сообщил по рации: — Опоздавший пассажир, багажа нет, веду.

Я помнил, как один раз меня в Москве на рейс не посадили. Москва слезам не верит. Верит только деньгам. И москвичам плевать на провинциальных пассажиров, что завязли в их же пробках. И если начнешь ругаться, биться в истерике, подойдут тут же еще более суровые и обозленные секьюрити, которые усмирят любого, а вот бомбу, пронесенную в Домодедово, проворонят. И невольно вспомнишь «страшное тоталитарное время», когда тебе не делали рентген перед выходом в зону посадки, не прозванивали каждый твой карман и шов, когда жилые дома, самолеты и автобусные остановки не взрывали,

когда не пускали под откос поезда. Свобода... Свобода резать и быть зарезанным, так, по-моему, у Ивана Солоневича в его книге «Народная Монархия».

Но сегодня Богом данный Богдан уже вел меня на посадку, потому что со мной была Богородица. Олег провожал меня в контрольной зоне все тем же внимательным и абсолютно ничего не выражающим взглядом. Уже в накопителе позвонили сначала Сергей («Все нормально?», «Все нормально», «Ну, с Богом!»), потом мама («Ты чего не звонишь? Как доехал?», «Я уже еду обратно», «Как обратно?! Что, там тебе ничего не обломилось? Я же тебе говорила!..», «Мама, там тетя оставила дом, но мне не до него, я везу обратно икону», «Какую? Что? Ту самую?.. Где ты ее взял?», «Мама, я уже иду на посадку, мне говорить неудобно, потом все расскажу, она мироточит», «Мироточит? Так как же тебе удалось ее там найти, смотри внимательнее, чтобы на тебя никто не напал, ты хоть ел что-нибудь? Давай я попрошу Ваню или Сашу, чтобы они тебя встретили, обязательно позвони мне, когда приземлишься...», «Мама, извини, уже надо идти, я позвоню...», «Неужели она тебе оставила наследство?..»).

Окончание следует.